

## Юрий Бондарев. "Простите нас!"

Южный экспресс задержался здесь не более пяти минут. Павел Георгиевич долго стоял на безлюдной платформе и слушал горячую трескотню кузнечиков за насыпью степного разъезда. После духоты вагона, утомительных дорожных разговоров в накурленном купе за полночным преферансом, ненужных знакомств, после надоедливого поскрипывания полок Павла Георгиевича охватила неправдоподобная тишина, казалось, совсем как в детстве.

Он не без удовольствия сел на чемодан, перекинул плащ через плечо и сидел так, оглядываясь со счастливым облегчением. Хотя по роду своей профессии ему не так много приходилось ездить, он непонятно почему любил нефтяной запах шпал, гудки паровозов, спешащий перестук колес, мотание из стороны в сторону последней площадки, где в руке кондуктора мелькал выцветший свернутый флажок, теплый ветер от бегущих вагонов - все это будило смутное желание к движению, к перемене мест.

Иногда в Москве, до глубокой ночи засиживаясь над чертежами, он подымал голову, глядя в распахнутое в тополя окно, и, задумавшись, подолгу слушал, как вкрадчиво над спящим городом перекликались на вокзалах ночные поезда. Порой гудки мешали ему, будоражили его, и отчего-то тогда вспоминалась вечеряющая степь с пыльным закатом над темными стогами, и, подхваченный волнением, он бросал работу, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, уходил из дому, бродил по пустынным и тихим улицам.

Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен, с годами привык к этой известности и, казалось, даже немного устал от нее, как порой устают люди, когда к ним рано приходит успех и удовлетворение. В этом году Сафонов, утомленный сложной зимней работой, был в санатории на Южном берегу Крыма. Ослепительно-солнечный юг с его острой, сухой жарой, неестественно экзотическими пальмами на бульварах, прокаленный песок пляжа, купание и процедурное лежание под теплым йодистым дуновением моря, весь санаторный режим располагали к безделью, одолевала курортная лень, и мысли в эту жару тоже были притупленные, ленивые, и хотелось быстрее в Москву, к осенним дождям, к мокрому асфальту, к блеску фонарей в лужах.

Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория, мчал его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много лет. Утром, глядя в увлажненные окна тамбура на прохладную степь, Сафонов с какой-то грустной обостренностью вспоминал то, что уже было полузабыто: вот он, мальчишка, в грязной сатиновой рубашке, с цыпками на руках, бежит по этой ледяной от росы степи, бежит вслед за поездом неизвестно куда, и отяжелевшая от влаги трава хлещет его по коленям, приятно холодит ноги... Сколько тогда ему было лет? Порой ясно чудилось, будто вместе с Верой он идет по лунным косякам на Шахтинском холме, внятно и резко пахнет из низин полынью, и потрескавшиеся, обветренные губы Веры тоже пахнут полынью. Воспоминания возвращали его в давний прожитый (а может быть, непрожитый) мир, говорили, напоминали, что ему уже за сорок и что не так много сделано в его жизни, где давно, отмеченная прочными вехами, первая молодость прошла.

И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своем степном городке: побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, что изменилось в нем за многие годы, непременно встретить знакомых школьных лет, таких далеких, словно их и не было. Ему страстно захотелось посидеть с другом юности Витькой Снегиревым где-нибудь в летнем кафе, под тентом, за холодным пивом, вспомнить то наивное, давнее и милое, что уже никогда не повторится, но что все-таки было когда-то в его жизни.

И хотя это желание победило, Павел Георгиевич с ироническим видом потер нос (в свои годы он иногда подтрунивал над собственными желаниями), вошел в купе, где все спали, подумал еще раз, уложил чемодан, взял плащ и, к удивлению заспанного проводника, бесшумно подметающего в коридоре, сошел на маленьком разъезде этим ранним августовским утром. Он сошел не на вокзале в городе, а именно здесь, чтобы дойти до города пешком.

Южный экспресс с жаркими от зари стеклами, с запыленными занавесками тронулся, полетели вдоль насыпи бумажки, поднятые ветром, и ушел быстро; дымки почти беззвучного паровоза таяли среди сиренево стекленеющего неба далеко на западе, все стихло.

Только у самой насыпи неумолчно звенели, трещали в неестественной тишине кузнечики.

Сидя на чемодане, Сафонов не без волнения выкурил папиросу, подумал: "Необычайно хорошо!" - и с наслаждением вдохнул на полную грудь зябкий и чистый, как ключевая вода, воздух. Степь, полетному пестрая, в этот спокойный час утра тепло и ало краснела за холмами на востоке. Там, в

эту пылающую, мнилось, бесконечность пылила вдали по кособокому грузовая машина, и, четко вырезанные по красному, проступали терриконики, дальние силуэты водонапорной башни, оазисы беленьких домов, острые верхушки тополей.

С насыпи Павел Георгиевич не торопясь спустился в степь, как в чашу, полную еще сырой прохлады; тугой волной обдавало горьковатым запахом полыни. И пока он выбрался на дорогу, колени его стали влажными от росы, на плащ, на брюки нацеплялись репейники, чемодан облепили мокрые лепестки.

Он шагнул по дороге, приятно утопая ботинками в мягкой пыли, затем сорвал прутик с молодой липкой кожицей; по-мальчишески сбивая росу, ударил им по головке какого-то фиолетового цветка у обочины (название которого в детстве знал, но теперь забыл). Из глубины цветка неожиданно поднялся сонный золотистый шмель, весь в намокшей пылице, и тяжело, сердито прогудел мимо. - Ишь ты! - сказал Павел Георгиевич, провожая его веселым взглядом. - Прости, если потревожил...

Когда Сафонов вошел в родной городок, окраины встретили его длинными, через всю дорогу, теньями от старых тополей; кое-где в садах подымался синеватый самоварный дымок, ветви обогретых солнцем яблонь свешивались через заборы. Сафонов шел, помахивая прутиком, глубоко вдыхал запах садовой свежести, этот смолистый самоварный дымок - эти запахи, эти тени от тополей напоминали детство, голубятню, игры в Чапаева, сокрушительные набеги на чужие сады, - как давно это было! Да было ли?

Весь день он ходил по городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафопова. Старинный степной этот городок был точно заново заселен, заново выстроен; комфортабельно блестящий зеркальными витринами центр его кишел пестрой, куда-то спешащей через перекрестки толпой, милиционеры, с шоколадно опаленными солнцем лицами, в белых кителях, заученно-щегольски взмахивая палочками, регулировали движение; разомлевшие, потные люди стояли на троллейбусных остановках в пятнистой тени акаций, везде продавали газированную воду, как в Москве, как на улице Горького... А раньше тут зевали от жары, лениво покрикивали краснолицые, бородатые мороженщики в передниках, похожие на дворников, и залитые зноем улицы были безлюдны, накалены, только собаки лежали в прохладе крылец, дремали, высунув языки, и в белой запыленной полыни стонали куры.

Он четыре раза не спеша проходил по той улице, где родился и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на этом месте был бульвар, молодой, свежий, с песчаными аллеями, исполосованный теньями, солнечными пятнами. И этот бульвар, которого никогда не было, совсем не помнил и не знал детства Павла Георгиевича, не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру, и она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала с беспомощной растерянностью: "Теперь на всю жизнь, да?"

Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с томительно замирающим сердцем. Ничего не осталось от прежнего, от его детства, ничего не осталось... И было обидно, непонятно это, будто жестоко и зло обманули его, отняли что-то у него, чего нельзя было отнимать.

Но где сейчас Витька Снегирев, где Вера? Витька - первая мальчишеская преданность, Вера, как говорят, - первая любовь, мучительная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим снегом на крыльцо, с первым неумелым поцелуем, который он помнил...

Павел Георгиевич посмотрел на детские коляски, на малышей в белых панاماх, ползающих среди песка, на загорелого парня в безрукавке, угловатую, как подросток, девушку с веточкой акации в зубах, совсем незнакомых, медленно идущих по аллее бульвара, и поднялся, каким-то постаревшим движением перекинул плащ через руку. Он почему-то почувствовал себя экскурсантом в этом городе.

Но его вдруг потянуло на Садовую, там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирев, а на углу, возле аптеки, в маленьком доме, - Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них: "Что с ними? Как они?"

Садовая улица была прежней, седые акации вперемежку с тополями, разросшиеся вдоль забора, переплелись над ней, образовали над всей улицей зеленый темный шалаш, и мохнатыми гусеницами валялись на тротуаре тополиные сережки, как тогда, в детстве. Сафонов глядел по сторонам на эти милые с детства, затененные листвой одноэтажные дома, на слабо поблескивающие стекла летних террас, пышно увитые плющом, и жадно искал здесь старое, знакомое, неповторимое.

"Вот он, домик... Витьки Снегирева! Да, да! Дом N\_5". Этот номер с фонарем едва виден был сквозь плотные ветви деревьев, и Павел Георгиевич даже удивленно улыбнулся, сдвинул шляпу

на затылок. И, тут же почувствовав мгновенную нерешительность, поднялся на ступеньки старенького, скрипучего крыльца, нагретого солнцем; запахло сухим деревом.

Его встретила пожилая женщина. Он не знал ее. "Нет, Снегиревы здесь после войны не живут, уехали все. Может, запаматовала, но вроде бы они в Свердловске. Кажись, сын у них - директор завода. Два года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин? Сродственник им или как?"

Павел Георгиевич, слушая, снял шляпу, тербил ее в руках; наконец, поняв все, досадливо пробормотал невнятные слова: "Да, дальний родственник" - и с едким чувством горечи и какого-то обмана тихо спустился с крыльца.

Куда идти? И все-таки он не терял еще надежды найти кого-либо, узнать о ком-нибудь, он хорошо помнил, не выпускал из памяти островерхую крышу аптеки в дальнем конце улицы и рядом домик под тополями, где когда-то жила Вера.

Однако к этому дому, видневшемуся за вывеской аптеки, он подходил с такой опаской, робостью, с таким внезапно поднявшимся в нем волнением, что пришлось остановиться на углу под тополями, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он еще любил ее? Не понимал, что владело им, женатым и семейным человеком, - возможно, мгновенное чувство острого сожаления, что все получилось как-то не так, возможно, воспоминания о тех первых ощущениях мелькнувшего давным-давно счастья.

Он вытер пот со лба, нажал кнопку звонка. И ждал, опять теребя пальцами шляпу, преодолевая неуверенность.

Постаревшая Верина мать (он тотчас узнал ее, но она не сразу узнала его: "Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик?"), нелепо суетясь и виновато извиняясь за беспорядок в комнате, усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что "мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел", а он, едва понимая ее, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил наконец запнувшимся голосом:

- А где Вера?.. Где она?

- Ве-ера? - Она странно посмотрела на него. - Вера? - повторила она тише и отвернувшись, подняла руку, точно загораживая лицо.

Ему стало душно.

- Где она? - почти шепотом повторил он.

- Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры... Нет Веры... Она ведь на войне санитаркой...

- Не может быть, - растерянно и глухо сказал Сафонов.

Потом он помнил: Верина мать, провожая его, все смотрела ему, казалось, в самые зрачки текучим, задумчивым взглядом и повторяла грустно:

- Как жаль, как жаль!.. Вы вместе росли...

Сафонов ощущал себя окончательно разбитым. Он теперь не знал, куда идти, кого искать, и совсем бесцельно зашел в летнее кафе на углу. Было жарко и все так же душно, не хотелось есть, но, когда подошел официант, он заказал две бутылки пива, долго сидел в шуме, бестолковом говоре под теневым зонтиком, устало глядя на город, весь зеленеющий акациями, южный по своей белой и солнечной красоте и почему-то чужой ему сейчас.

И было тоскливо, одиноко, досадно; и, не допив пиво, чувствуя раздражение, неудовлетворенность, он неожиданно для самого себя расплатился и не без последнего упорства пошел снова бродить по городу со слабой надеждой.

Но он так никого и не встретил. А в десятом часу вечера, вконец усталый и будто ограбленный, он направился в сторону вокзала, вышел на 1-ю Пристанционную. В тихих сумерках зажигались фонари, неподвижно зажелтели в пролете улицы, от садов резко и свежо потянуло прохладой, загорелся свет в домах, за забором на террасе заиграла радиолоа. По шоссе в сторону городского парка с шелестом проносились уже освещенные, как зеленые аквариумы, троллейбусы; на углу зыбко переливалась неоновыми зигзагами реклама кинотеатра.

В этом городе никто не знал его. Только Верина мать...

Павел Георгиевич подошел к троллейбусной остановке, надел плащ, поднял голову и внезапно в проеме улицы увидел свою школу - четырехэтажная, с темными окнами, она стояла, как и тогда...

Она не изменилась. Она была прежней, как в детстве, как много лет назад.

Он несколько минут, не отрываясь, смотрел на темный силуэт школы, затем, точно кем-то подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошел в пустынный чернеющий школьный парк... И с радостным утомлением сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли в фанты. Это бывало весной, когда земля еще приятно отдавала сыростью!.. Он ощущал скамью,

погладил ствол акации и засмеялся, как будто он встретил очень давнего знакомого, до боли доброго, совсем не изменявшегося знакомого, который все знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич все знал о нем...

Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то, во время весенних экзаменов, был над школой глухой гром и майский ливень обрушился на город с веселой яростью первой грозы? И прошел с бурным плеском в асфальт, с шумом дождевых струй по ветвям, со звоном в водосточных трубах, с фиолетовыми над мокрыми домами молниями... И тогда хотелось бросить экзамены, бежать вместе с мальчишками под этим веселым теплым дождем и, задрав штаны, болтать ногами в парных лужах, которые еще пузырились, но в них уже отражалось посветлевшее небо.

"Да, ведь это было!" Он представил все ярко и, с волнением и любопытством опять посмотрев на темное здание школы, вдруг заметил справа, в сырой темноте парка под густыми акациями, красный огонек, пробивающийся меж ветвей. Неужели Мария Петровна?.. Здесь жила Мария Петровна, его учительница по математике, как же он сразу о ней не подумал, не вспомнил! Всегда он был ее любимцем, она пророчила ему блестящее математическое будущее...

И, вскочив со скамьи, Сафонов зашагал по аллее в глубину парка, а когда близко увидел маленький домик под деревьями, тусклый свет в окне, задернутом красной занавеской, он даже задышался. Сколько лет они не виделись! Здесь ли она теперь? Жива ли? Что с ней? Как много было связано с этим именем "Мария Петровна"!

И Сафонов осторожно, сдерживая дыхание, взойшел на крыльцо. Он хотел постучать - дверь оказалась открытой, он вошел в неосвещенную переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала щель света.

Сафонов постучал. Ответа не последовало.

Сафонов в растерянности нажал на запертую дверь и тут только понял: в доме никого не было. И тогда, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой, должно быть, комнате играло радио, Сафонов ощупью в темной передней пошел к выходу. Он задел за что-то плечом, с грохотом упало ведро. Павел Георгиевич машинально наклонился, хотел поднять это ведро и выронил шляпу, с сердцем выругавшись: "Че-ерт возьми совсем!.."

- Кто там? - послышалось за его спиной.

Павел Георгиевич выпрямился, полуобернулся. В освещенном проеме двери стояла невысокая худенькая женщина, и он сразу, еще не различив лица, узнал ее...

- Мария Петровна, - тихо и зовуще сказал Павел Георгиевич, - вы меня узнаете?

- Входите, - сказала она тем вежливым, строгим голосом, каким, очевидно, обращалась к родителям своих учеников, когда те приходили "поговорить".

Павел Георгиевич вошел, опустив руки, и, глядя в близоруко прищуренные глаза своей учительницы, повторил:

- Вы не узнаете? Мария Петровна, это я...

Она несколько секунд всматривалась в него снизу вверх, он видел ее болезненно-бледное, состарившееся, будто источенное лицо, и в эту минуту, сдерживая жалость, отметил про себя, как сильно она изменилась, стала еще более тонкий, хрупкой, только седые волосы были коротко и знакомо подстрижены.

- Паша Сафонов... Паша? - проговорила она почти испуганно, и Павлу Георгиевичу показалось, что лицо ее задрожало. - Садись, пожалуйста... Прости, у меня кавардак... Садись, пожалуйста, вот сюда. К столу, Паша... Ты приехал?

- Да, да, я сейчас, я сейчас! - обрадованно заговорил Сафонов, с неловкостью вешая плащ, шляпу на вешалку, где виднелось одинокое пальто Марии Петровны. И, вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, солидный человек, робел, краснел, как школьник, как в те годы.

Он хотел пожать Марии Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери, и сейчас же потянулся за папиросами и, вынув коробку, спросил совсем стеснительно:

- Можно?

Они сели за стол. Мария Петровна с непонятной настороженностью, с неверием, улыбаясь ему своими близорукими глазами, быстро повторяла:

- Ну вот, Паша, ты приехал... не узнать. Ты в командировку, по делам?

- Я проездом, Мария Петровна, - ответил он и не сказал, что отдыхал на юге, о чем говорить было, наверно, легкомысленно и неудобно.

- Мы сейчас с тобой чай... Подожди, подожди, мы сейчас чай. - И она встала и внезапно снова, как бы обессиленно, села, положив тонкие руки на стол, неверяще улыбнулась. - Да, да, Паша...

Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов...

- Мария Петровна, чай не надо, - смущенно проговорил он. - Я только что поужинал...

Пить чай ему не хотелось; хотелось ему только вот так сидеть за столом, смотреть на Марию Петровну, говорить, спрашивать... Но Мария Петровна, вроде не слушая его, взяла чайник, движения ее показались ему стесненными.

- Я сейчас, Паша... Прости, что я называю тебя так. Ты ведь теперь...

Она не договорила, вышла на кухню, и тут, приходя в себя, Павел Георгиевич вздохнул освобожденно, провел ладонью по лбу, огляделся. Она была, как и до войны, одинока и жила в той же маленькой комнатке с одним окном в сад. Все было по-прежнему: стол, кровать, цветной коврик на стене, какая-то вышивка на тумбочке, широкий вместительный шкаф, набитый книгами; посреди стола - чернильница, стопка тетрадей, сбоку - красный, аккуратно отточенный карандаш. В этой комнатке он был лишь один раз. Его вызвала Мария Петровна и хмурилась, говорила с ним строго: кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил ее на стол преподавательнице немецкого языка. Сейчас Сафонов просто не поверил: пропасть времени лежала между прежним Пашкой и настоящим Павлом Георгиевичем, конструктором, вот в эту минуту не без смущения сидящим за этим столом.

Вошла Мария Петровна с чайником, весело сказала:

- Все готово! Ну, Паша, рассказывай о себе, что ты, как? А впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи, книгу твою читала. Ты женился? - поспешно спросила она.

- Да, Мария Петровна, - ответил Сафонов.

Она подозрительно-ласково посмотрела на него.

- Счастлив?

- Как будто, Мария Петровна. У меня сын.

Она, точно не расслышав, сейчас же сказала:

- Ну хорошо! А как работа? Над чем работаешь?

- Над новой конструкцией, Мария Петровна.

- Ну и как? Удачно?

- Пока не знаю. Знаете что, Мария Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе...

Мария Петровна покачала головой, проговорила задумчиво:

- Я хорошо помню ваш класс. Довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегиревым.

- А помните, Мария Петровна, как вы мне ставили "плохо" по алгебре? В седьмом классе, кажется...

- Да. За то, что ты не делал домашних заданий, надеялся, что кривая вывезет. А математика прекрасно тебе давалась. Но ты был ленив.

- Мария Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок?

- Это то изобретение, когда шпаргалка двигалась по ниточке между партами?

- Да! - Павел Георгиевич засмеялся. - А прыгающая чернильница? Нет, сейчас бы я до такой штуки не додумался. Помню: сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтоб чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподаватель макнет ручку.

Мария Петровна прищурилась, словно сдерживая улыбку.

- А я хорошо помню другое; как ты, Паша, стоял вот перед этим столом...

Она не договорила, налила в чашки чай, взяла ложечку, задумалась и спросила:

- Ты помнишь Мишу Шехтера?

- Ну конечно! Завидовал ему! Мы в классе зачитывали его сочинения: "Образ Татьяны", "Горе от ума". У меня ничего не получалось.

- Он стал журналистом, - медленно проговорила Мария Петровна. - Ездит по всей стране, за границу, Часто читаю его статьи. И часто вспоминаю...

- Он заезжал?

- Нет.

- Да, - сказал Сафонов. - Разлетелись... Я слышал, Витька Снегирев - директор завода на Урале. Не думал! Игнатцев Сенька - начальник главка, слышали? Я его встречал в Москве. Солидный, не узнать. А он не заезжал?

- Что? - спросила Мария Петровна и, опустив глаза, тихонько кивнула: - Ты пей чай, Паша...

- Мария Петровна, а кто заходил к вам, кого вы встречали еще из нашего класса? - возбужденно спросил Сафонов. - Гришу Самойлова видели? Артист. Помните, он корчил рожи, а вы ему сказали, что у него способности? Занятный был парень.

- Я его видела только в кино, Паша.

- Я тоже. Неужели не приезжал?

Мария Петровна не ответила, она, наклонив голову, мешала ложечкой в чашечке, и он увидел на ее пальце неотмывшееся чернильное пятно, перевел взгляд на ее источенное лицо и с какой-то внезапной жалостью, с любовью увидел морщины вокруг ее губ, ее тонкую, слабую шею, коротко подстриженные, сплошь белые волосы, и что-то больно, тоскливо сжалось у Павла Георгиевича в груди. Он подумал, что, если бы она умерла, он не знал бы этого. И не знали бы другие...

- Мария Петровна, - еле слышным голосом повторил Сафонов, - Витя Снегирев, значит, не был у вас? Кажется, он в прошлом году заезжал сюда.

Она сидела, по-прежнему наклонив голову, и только замедлила движение ложечки в чашке.

- Нет, не был...

- А кто был?

- Что? Ты, пожалуйста, пей чай. Остынет.

- Мария Петровна, а интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Бойков, Нина Винокурова? Боря Гмыря? Что-нибудь знаете о них?

Мария Петровна, опять не ответив, оглянулась на окно, там чернел сад, сквозь деревья пульсирующе замелькал свет проходившего троллейбуса.

- Нет, Паша, - сказала она. - Ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит.

Сафонов смутно помнил Колю Сибирцева. Этот парень был, кажется, тихий, робкий, ничем не приметный, никакими особыми способностями не отличался, и Павел Георгиевич едва-едва представил его лицо.

- Плохо помню его, - пожав плечами, сказал он. - Забыл!

- Очень плохо, - не то насмешливо, не то осуждающе проговорила Мария Петровна.

Они помолчали. Но от этих последних слов "очень плохо" Сафонову стало не по себе, он понял двойной их смысл. В наступившей тишине он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Мария Петровна ищущим, долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже посмотрел и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолетостроению.

- Мария Петровна, - тихо и полувопросительно проговорил он.

- Что, Паша?

- У вас, Мария Петровна, моя книга? - проговорил вполголоса Сафонов и тотчас замолчал, вспомнив, что эту книгу он не присылал ей.

- Да, я читала.

Тогда он встал, вынул из шкафа свою книгу "Конструкция самолетов", полистал и, чувствуя, что лицо его начинает жарко гореть, проговорил сконфуженно, с глупой готовностью:

- Мария Петровна, я вам надпишу. Разрешите?..

Неожиданно из книги выпал маленький листок, он торопливо поднял его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газеты, и ошеломленно оглянулся на Марию Петровну, - она мешала ложечкой и очень быстро говорила:

- Неплохая" книга... Прочитала с интересом. А это из "Правды", Паша. Когда я увидела, я дала тебе телеграмму.

Он так же поспешно, точно скрывая нечто порочащее его, неприятное, спрятал листок в книгу и, охваченный стыдом и ненавистью к себе, теперь отчетливо и хорошо вспомнил, что он действительно получил телеграмму два года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее, хотя ответил на другие.

Сафонов неясно помнил, что написал на книге, но хорошо помнил, как они прощались: он как-то стыдливо снял свой роскошный плащ, который висел рядом с потертым пальто старой учительницы, и с непроходящим ощущением вины поклонился. Она зажгла в передней свет, вышла проводить.

Он молчал. Мария Петровна, тоже помолчав, вдруг спросила робко:

- Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе? Хотя что-нибудь...

- Мария Петровна, что вы говорите? - в замешательстве забормотал он. - Если бы не вы!..

Она посмотрела ему в глаза, сказала вздрагивающим голосом:

- Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня! Ты думаешь, я не скажу об этом завтра своим ученикам?.. Иди, Паша, больших успехов тебе. Будь счастлив...

Они простились. Он быстро пошел по дорожке ночного сада. И не выдержал, оглянулся. Дверь

передней была еще распахнута, и в темный парк падал желтый косяк света. Мария Петровна стояла на крыльце, и худенькая, неподвижная фигурка ее отчетливо чернела в проеме двери. Всю дорогу до Москвы Сафонов не мог успокоиться, переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове - о всех, с кем долгие годы учился когда-то, и хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марии Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и отчаянием подумал, что не знает номера ее дома. На большой станции Сафонов, хмурый, взволнованный, вышел из вагона. Он зашел на почту и, колебавшись, дал телеграмму на адрес школы, на имя Марии Петровны. В телеграмме этой было два слова: "Простите нас".